

том «многоступенчатого» надзора и не имея возможности стать по-настоящему «опубличенным», вызывает своего рода профессиональную эрозию — уже упоминавшееся подчинение «внутреннему цензору». Но насколько астафьевский взгляд репрезентативен для позднесоветского почвенничества? Какие еще варианты концептуализации разрыва между «сценой» и «кулуарами» циркулировали в 1970-е годы в национал-консервативной и в либерально-западнической среде? Ответы на эти вопросы, возможно, наметят новые разграничительные линии внутри сообществ и помогут переопределить границы между ними.

Александр Дмитриев

Казус и модель

DOI: 10.53953/08696365_2022_175_3_241

Очень интересная и насыщенная сдвоенная статья Ильи Кукулина, Марии Майофис и Марии Четвериковой о позднесоветских бэкстейджах так или иначе ставит важный общеметодологический вопрос о границах изучаемого явления. Что именно стоит считать «позднесоветским», где его границы и хронологические, и культурные? Об этом уже было сломано немало копий в научных и публицистических дебатах — и предмет споров явно останется актуальным и до сих пор.

Наш поворот сюжета касается компаративных аспектов явления — и прежде всего его аналитики. Особенно важным нам представляется ракурс, прямо проговоренный авторами: «Очевидно, такие неформальные договоренности о кооперации или рефлексии чужих кооперативных действий существуют в любом современном обществе, но в позднесоветском их роль была особенно велика. Нормы социального действия, в особенности нормы культурного производства, были не равны для всех и непрозрачны. Этим советское общество напоминало патриархальное или феодальное. Однако, в отличие от патриархального или феодального социума, в СССР у этих норм было еще две особенности: они были неустойчивы и подвержены ряду внешних и локальных влияний».

Далее речь в статье речь идет как раз о партикулярных чертах «проговариваний»/«притираний» деклараций и реалий советского литературного обихода. Эти особенности раскрываются в статье именно в новаторском плане социологического и антропологического анализа «устной истории», глубинных интервью. При этом все равно остается вопрос о соразмерности самой весьма универсальной модели Гофмана и весьма специфического позднесоветского бэкстейджа. Любой специалист по патриархальному или феодальному социуму наверняка приведет множество историй подвижных и переменчивых норм в изучаемых им цивилизациях. Но разве становится — от противного — тогда закономерным и тезис о том, что бэкстейджи были *всегда*? Соблазн расшире-

ния продуктивного кейс-стади довольно велик; но может ли любое несвободное общество в плане его культурного воспроизводства быть увидено в этой оптике, даже если мы ограничимся все-таки XIX—XXI веками? «Неравенство» и «непрозрачность» (отмеченные в цитате) сами по себе необходимый и приятательный объект изучения.

Кажется, тут мы подходим к концептуальному инструментарию анализа «закрытого общества». Тогда наряду с Диной Гусейновой и Катрионой Келли сама Мария Майофис предложила изучать николаевское общество 1830-х и его реакцию на знаковые события (катастрофический пожар в Зимнем дворце) как один из примеров социума такого рода. Интуитивно, кажется, мы понимаем разницу (полу)публичности середины XIX века и середины XX-го; более того — фокусировка авторов на 1960—1980-х делает многие выводы и инструменты «соцреализмологии» от Катарины Кларк до Евгения Добренко тоже хронологически, а главное, идейно нерелевантными для описания этой подцензурной жизни. «Мурти-бинг», образ, воплощенной в гегелевско-тоталитарном облике неотвратимости истории начала 1950-х, так мастерски описанный Чеславом Милошем в его «Порабощенном разуме», тут тоже уже не действует.

Но ведь автор самой социологической модели, Ирвин Гофман, пытался за счет перемены фокуса зрения увидеть и описать тот пласт социальной и культурной реальности, который универсален пусть не исторически, но по крайней мере антропологически. Широта модели как будто не охватывает поставленной задачи реконструкции позднесоветского кейса и как будто задана на вырост, для будущих исследователей. Сказанное совершенно не упрек, скорее попытка подумать над направлениями такого «выроста». Именно характер интервью и особенно его препарирования позволяет увидеть то, что ни мемуары, ни документ, даже такой изощенный, как рефлексивная проза Лидии Гинзбург, не раскрывают. Правила цензуры как правила игры ждут анализа не только в литературной, но и идеологической области. Как рациональнее исследовательски выходить за пределы этих областей, точнее, эти пределы проблематизировать, — наверное, главный вопрос, возникший по мере чтения статьи. Уже заметен потенциал выхода за рамки, например, заслуженно известных моделей А. Юрчака применительно к позднесоветскому — за счет анализа опыта и переживаний «идеалистов» (как их описывает М. Рожанский). Теперь дело не только в опыте, но и в аналитике, в корректности и релевантности сравнительных моделей развития не- и «полусвободных» культур и обществ. Но как вообще покидать пределы «советскости», учитывая, что Гофман и интеракционистская социология с обществами такого типа и природы не работали?..

Андрей Зорин отсылал к свидетельствам Дж.М. Тодда, который привозил для Лидии Гинзбург в последние десятилетия ее жизни работы новейших западных социологов; следы такого чтения в весьма приглаженном виде прочитываются и на страницах поздних монографий Гинзбург, нечасто всерьез изучаемых. Другое дело, что возможности и характер обобщений сейчас не сравнимы с теми, которые были заданы Гинзбург условным семидесятилетним этикетом «рассуждений о литературе», ее ценностях и модальностях. Спасибо авторам сдвоенной статьи за успешную и увлекательную реализацию таких возможностей.